

«РАССУЖДЕНИЕ О НЕПРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ» Д. И. ФОНВИЗИНА В ПЕРЕРАБОТКЕ НИКИТЫ МУРАВЬЕВА

Публикация К. В. Пигарева

Одним из писателей, пользовавшихся наибольшей популярностью в кругах декабристов, был Д. И. Фонвизин. Александр Бестужев посвятил ему следующие строки в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России»: «Фон-Визин, в комедиях своих *Бригадире* и *Недоросле*, в высочайшей степени умел схватить черты народности <...> Его критические творения будут драгоценными для потомства как съёмки (fac-simile) нравов того времени»¹. Народность творчества Фонвизина ценил и Пушкин, называвший его «русский вссельчак», «из перерусских русский»². Декабрист В. И. Штейнгель, отвечая Следственной комиссии на вопрос об истоках своего вольно-мыслия и о книгах, которые он читал, показывал: «Теперь трудно упомянуть все то, что читал, и какое сочинение наиболее способствовало к развитию либеральных понятий; довольно сказать, что двадцать семь лет я упражнялся и упражняюсь в беспрестанном чтении: я читал Княжнина „Вадима“ (даже печатный экземпляр), Радищева „Поездку в Москву“, сочинения Фонвизина...»³

Из произведений Фонвизина к началу двадцатых годов XIX в. неизданными оставались очень немногие, но и они были доступны декабристам, ибо рукописное наследие писателя находилось в руках его племянников М. А. и И. А. Фонвизиных; старший из них, генерал-майор М. А. Фонвизин, был членом Союза Спасения; младший, полковник И. А. Фонвизин, — членом Союза Благоденствия. Известны были также в декабристских кругах известные предания о Фонвизине, сохранившиеся в семье его потомков. Такова версия об участии Фонвизина в политическом заговоре, целью которого было ограничение самодержавия.

В своих записках декабрист М. А. Фонвизин рассказывает, что гр. Н. И. Панину, «первоприсутствующему» в Коллегии иностранных дел и воспитателю наследника Павла Петровича, «хотелось ограничить абсолютизм твердыми аристократическими институтами». По указанию Панина, Д. И. Фонвизин, служивший в то время под его начальством, составил проект конституционного акта, согласно которому полная законодательная власть в России предоставлялась Верховному сенату, состоявшему частью из несменяемых членов, назначавшихся монархом, частью из выборных представителей дворянского сословия. Сенату должны были подчиняться губернские и уездные дворянские собрания, получавшие право совещаться с ним об общественных и местных нуждах и предлагать на обсуждение Сената новые законы. Монарху предоставлялась исполнительная власть. Конституционный проект предусматривал постепенное освобождение крепостных. Составление этого проекта М. А. Фонвизин относит к тому времени, когда воспитанник Н. И. Панина, в. к. Павел Петрович, достиг совершеннолетия, — то есть к 1773 г. Тогда же якобы был образован заговор в пользу Павла. Участниками заговора против Екатерины М. А. Фонвизин называет в. к. Наталью Алексеевну, братьев Н. И. и П. И. Паниных, Д. И. Фонвизина, кн. Е. Р. Дашкову, кн. Н. В. Репнина, П. В. Бакунина и ряд других лиц. Павел будто бы скрепил свой

подписью проект конституции и поклялся соблюдать ее. Заговор был открыт П. В. Бакуниным фавориту Екатерины, Г. Г. Орлову. Она вызвала к себе сына. «Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в огонь и сказала: *я не хочу и знать, кто эти несчастные*. Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственной жертвою заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна: полагали, что ее отравили или извели другим способом»⁴. Далее М. А. Фонвизин сообщает, что Н. И. Панин «был удален от Павла с благоволительным рескриптом», П. И. Панин и Е. Р. Дашкова отошли от двора и переселились в Москву, а Н. В. Репнин уехал в смоленское наместничество. Судьба же самого конституционного проекта была такова. Список с него хранился у брата Д. И. Фонвизина, Павла, директора Московского университета. В 1792 г., после ареста Новикова, П. И. Фонвизин, ожидавший у себя обыска, уничтожил конституционный акт и лишь «введение» к нему было спасено случайно находившимся тут же третьим братом Д. И. Фонвизина, Александром. Это «введение», написанное рукою Д. И. Фонвизина, хранилось впоследствии у его племянника, М. А. Фонвизина, и было похищено у него одним книгопродавцем. Однако до этого оно получило рукописное распространение в кругу друзей М. А. Фонвизина. Копия с этого документа и была отобрадена у М. А. Фонвизина при его аресте после восстания.

Сведения о заговоре и о судьбе его участников, сообщаемые М. А. Фонвизиним, в значительной степени недостоверны. Рассказ М. А. Фонвизина вызывает ряд недоумений. В 1773 г. Григорий Орлов уже не был фаворитом Екатерины и находился вдали от двора. Не жила в Петербурге и Е. Р. Дашкова. П. И. Панин удалился в свою подмосковную еще в 1770 г., обиженный на то, что не получил за взятие Бендер чина фельд-маршала, и до пугачевского восстания оставался не у дел. Наместничества были учреждены только в 1775 г., а потому сообщение об отъезде Н. В. Репнина в смоленское наместничество — анахронизм. Наконец, лишен всяких оснований слух об отравлении в. к. Наталии Алексеевны: она умерла в апреле 1776 г. от родов.

Но если версия М. А. Фонвизина о планах дворцового переворота, в которых участвовал его дядя, и не подтверждается историческими фактами, то все же нет дыма без огня. В монографии о Фонвизине Вяземский пишет: «Рассказывают, что он, по заказу графа Панина, написал одно политическое сочинение для прочтения наследнику. Оно дошло до сведения императрицы, которая осталась им недовольною и сказала однажды, путя в кругу приближенных своих: „худо мне жить приходится: уж и г-н Фонвизин хочет учить меня царствовать“»⁵.

«Политическое сочинение», упоминаемое Вяземским, это и есть то «введение» к проекту государственных реформ, о котором сообщает в записках М. А. Фонвизин и которое было впервые напечатано Герценом в «Историческом сборнике Вольной русской типографии в Лондоне» 1861 г. под заглавием «О праве государственном Фонвизина». В предисловии к сборнику Герцен рассказывает о заговоре Паниных, пользуясь при этом неизданными еще тогда записками М. А. Фонвизина.

В начале девяностых годов в фондах бывшего Государственного архива был обнаружен автограф этого же сочинения Фонвизина и ряд документов, выясняющих время и обстоятельства его возникновения. Все эти материалы опубликованы Е. С. Шумигорским в приложении к его книге «Император Павел I. Жизнь и царствование» (СПб., 1907). Политическая записка, писанная рукою Д. И. Фонвизина, озаглавлена: «Найденное в бумагах покойного графа Никиты Ивановича Панина Рассуждение о неперменных государственных законах». Из документов, среди которых находится этот автограф, явствует, что он был передан Д. И. Фонвизиним после смерти своего бывшего начальника Н. И. Панина его брату, П. И. Панину. По свидетельству последнего, «Рассуждение» написано в последний год жизни Н. И. Панина, то есть в 1782—1783 гг. Таким образом, устанавливается существенное расхождение с рассказом М. А. Фонвизина, — расхождение в датировке на целое десятилетие. По свидетельству П. И. Панина, его брат считал «долгом своим примыслить <...> форму государственного правления и фундаментальные законы, свойственные существительному <то есть существующему>». — *К. П.*» положению к правам обитателей отечества своего.

В самом «Рассуждении» содержится намек на то, что оно мыслилось как своего

законах» и дополнения к нему были предназначены П. И. Паниным для вручения Павлу в момент его вступления на престол. В сопроводительном письме, адресованном Павлу и датированном 1 октября 1784 г., П. И. Панин титулует наследника не «высочеством», а «величеством». Однако воцарение Павла представляется П. И. Панину в более или менее отдаленном будущем: по крайней мере, он сомневается в том, что доживет до этого события. П. И. Панин, действительно, не дожид до воцарения Павла (он умер в 1789 г.), и пакет с «Рассуждением» и приложенными к нему дополнениями попал снова в руки Д. И. Фонвизина.

О дальнейшей судьбе этого пакета мы узнаем из документа, хранящегося в бумагах Следственной комиссии по делу декабристов. В секретном донесении начальнику Главного штаба И. И. Дибичу от 8 мая 1826 г. московский военный генерал-губернатор Д. В. Голицын сообщал, что по его приказанию произведено «освидетельствование» книг и рукописей, принадлежащих московскому мещанину Петру Егоровичу Котельникову, «который назад тому лет 30 был содержанием типографии в городе Калуге при Приказе общественного призрения и покупает манускрипты». Среди обнаруженных у Котельникова рукописей оказался «манускрипт, содержащий в себе очень смелые выражения». Вместе с другими бумагами, отобранными у Котельникова, он был препровожден Дибичу и находится в делах Следственной комиссии. «Манускрипт» этот — не что иное, как копия «Рассуждения о непеременимых государственных законах», не имеющая заглавия и содержащая ряд небольших отличий (преимущественно стилистических) от общеизвестного текста. О происхождении найденного у него «манускрипта» Котельников показал, что «он получил его в 1818 году от Михайлы и Ивана Александровичей Фон Визиных в том самом виде, как оный есть теперь переписанный и оконченный собственною рукою Ивана Александровича Фон Визина. Первый сочинитель сей бумаги был Денис Иванович Фон Визин, находившийся секретарем при графе Никите Ивановиче Панине. По смерти Дениса досталась бумага сия его брату Павлу Ивановичу, от сего брату же их Александру Ивановичу, а по смерти оного наследовали уже дети его, Михайло и Иван, у коих Котельников сам лично видел сию бумагу в поллиста, писанную собственною рукою Дениса Ивановича. Сверх сего Котельников показал, что точно такая же бумага в запечатанном конверте была оставлена Денисом Ивановичем Фон Визиным г-же Пузыревской (коей муж был в С.-Пбурге губернским прокурором) для представления сего конверта государю императору Павлу Петровичу. От г-жи Пузыревской Котельников слышал лично, что тот конверт она представила его величеству и за сие всемилоштивейше пожалована ей пенсия». В конце своего донесения Дибичу Голицын уведомляет, что «сей Котельников находится теперь под надзором полиции»⁶.

Рассмотрев отобранные у Котельникова бумаги, Следственная комиссия «положила оставить их при делах своих», хотя и установила, что они «ничего относящегося до злоумышленного Общества в себе не заключают»⁷.

Итак, из объяснений Котельникова явствует, что «Рассуждение» Фонвизина было вручено Павлу уже после его вступления на престол.

Впоследствии, в 1831 г., рукопись «Рассуждения» вместе с сопровождающими ее бумагами была найдена Николаем I в секретном ящике бюро Павла I и тогда же передана в Государственный архив в запечатанном конверте с надписью: «Хранить, не распечатывая без собственноручного высочайшего повеления». В архиве Зимнего дворца сохранилась писарская копия с этих документов, сделанная, повидимому, в начале XIX в. и переплетенная в зеленый сафьян. На лицевой крышке переплета вытиснена золотом надпись: «Письмы с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных блаженной памяти к государю императору Павлу Петровичу»⁸.

Несмотря на то, что записка Д. И. Фонвизина в подлиннике озаглавлена: «Рассуждение о непеременимых государственных законах», в современных нам изданиях она печатается под заглавием: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и от того о выibleмом состоянии как империи, так и самих государей»⁹. Это не принадлежащее Фонвизину заглавие извлечено из письма П. И. Панина к Павлу: «Вашему императорскому величеству сведомо, что покойный мой брат министр граф Панин сочинял к поднесению Вашему величеству рассуждение

о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей»¹⁰.

Как явствует из приведенной цитаты, строки, принятые советскими исследователями в качестве заглавия записки Фонвизина, в контексте письма звучат скорее как резюме ее содержания.

Сила составленного Фонвизиним документа заключается в обличительной его части — в картине безграничного господства произвола, охватившего все отрасли государственного управления феодально-крепостнической империи Екатерины II. Меньший интерес представляет политико-теоретическая часть рассуждения, варьирующая круг идей, которые характерны для идеологов «просвещенного абсолютизма».

Конкретных политических требований, за исключением требования строжайшей законности и подчинения монарха закону, «Рассуждение» Фонвизина не содержит. Следует ли из этого, что передаваемая в записках М. А. Фонвизина версия о задуманных Паниными преобразованиях, в частности о предоставлении законодательной власти дворянскому Верховному сенату и о постепенном освобождении крепостных крестьян, является сплошным вымыслом? Можно допустить, что эти мероприятия, действительно, обсуждались Паниными в кругу близких лиц, но приурочивались к более или менее отдаленному будущему. Ведь и в «Рассуждении» говорится о предварительном «приготовлении» нации к тем «преимуществам, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы». Поэтому П. И. Панин в своих «примышлениях» перечисляет лишь «*первые* фундаментальные законы», которые имеет в виду и «Рассуждение» Фонвизина. Но возможно, что Фонвизин приложил к остававшемуся у него тексту «Рассуждения» известные ему соображения о Верховном сенате и о постепенной ликвидации крепостничества и что именно этот документ и был впоследствии уничтожен его братом»¹¹.

Являясь одним из замечательнейших памятников русской публицистики XVIII столетия, «Рассуждение о непременных государственных законах» в качестве острого памфлета против самодержавия сыграло значительную роль в развитии русского политического свободомыслия.

В записках М. А. Фонвизина упоминается о том, что копия «Рассуждения» была передана им Никите Михайловичу Муравьеву, который переработал его, «приспособив содержание этого акта к царствованию Александра I». По словам М. А. Фонвизина, «разошлось несколько экземпляров сочинения, которое, являсь под именем настоящего автора, было приписано мне»¹².

До последнего времени эта переработка «Рассуждения» Д. И. Фонвизина оставалась неизвестной. Теперь мы располагаем двумя ее списками, сравнительно мало отличающимися один от другого. Первый список обнаружен в бумагах Остафьевского архива Вяземских¹³. Он сделан писарским почерком в записной книжке П. А. Вяземского и озаглавлен: «О необходимости законов». Под заглавием приписано в скобках рукою Вяземского: «Извлечение из сочинения Ф(он-)Визина, писанного, сказывают, по заказу Панина для велик(ого) князя, которое ходило по рукам в последние годы царствования) Александра и, вероятно, составлено было одним из участников 14-го декабря или членом тайного общества». После текста этого сочинения помещен список «Разговора любопытного», принадлежащего Н. М. Муравьеву. Другой список «Рассуждения» найден в бумагах полярного исследователя Ф. П. Литке¹⁴. Он озаглавлен «О законах» и имеет помету перед текстом, достаточно прозрачно указывающую на авторство Муравьева: «Соч. Вьеварума» (прочитанная справа налево фамилия Муравьева).

Сравнение этих списков с «Рассуждением» Д. И. Фонвизина показывает, что Н. М. Муравьев значительно сократил (почти наполовину) фонвизинский текст и местами ограничился его пересказом. Сокращения произведены преимущественно за счет отвлеченных политико-теоретических размышлений автора о свойствах «идеального» монарха. Совершенно опущена заключительная часть «Рассуждения», в которой излагается характерная для дворянских просветителей XVIII в. мысль о «благонравии государя», образующем «благонравие народа». Устранены некоторые намеки, понятные для современников Фонвизина, но ко времени декабристов уже утратившие

свою злободневность (выпады против Потемкина); несколько смягчены строки о Пугачеве и др. Среди чисто стилистических изменений, внесенных Муравьевым в текст Фонвизина, обращает внимание замена слов иностранного происхождения русскими: «народ» вместо «нация», «условия» вместо «пункты», «нравственный» вместо «моральный», «общественный» вместо «публичный», «основной» вместо «фундаментальный», «судилище» вместо «трибунал». В тех случаях, когда Муравьев прибегает к пересказу фонвизинского текста, он, однако, не вносит в него ни одной мысли, которая бы не находила соответствия в подлиннике. Каких-либо дополнений, содержащих конкретные намеки на политическую обстановку последних лет царствования Александра I, в муравьевском тексте «Рассуждения» не имеется. Самый же выбор произведения Фонвизина в качестве политико-агитационного документа, подходящего для распространения в среде деятелей Тайного общества, был, несомненно, обусловлен тем, что нарисованная Фонвизиним картина самодержавного деспотизма Екатерины заключала в себе типические черты, присущие самодержавному строю вообще. Вследствие этого «Рассуждение» Фонвизина полностью сохраняло свою обличительную силу и в позднейшее время. Даже негодующие строки против фаворитизма, превзошедшего всякие границы именно при Екатерине, и те звучали более чем современно в условиях самовласти Аракчеева.

Переработка «Рассуждения» Н. М. Муравьевым и рукописное распространение как сокращенной, муравьевской, редакции этого документа, так и полного, фонвизинского, текста — яркое доказательство того, что русские дворянские революционеры считали Д. И. Фонвизина своим политическим союзником. Убедительным свидетельством агитационного значения сочинения Фонвизина является показание декабриста А. П. Беляева. На вопросы Следственной комиссии: «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» — Беляев отвечал: «Понятие (...) о законах и правах человека получил от чтения в 1824 году на фрегате Проворном, где прочитал и списал русскую рукопись у Н. Бестужева о необходимости законов Фонвизина. Также после имел и другие»¹⁵.

Одним из распространителей «Рассуждения» был, повидимому, Рылеев. По крайней мере известно, что осенью 1825 г. он собирался послать «рукописное сочинение Фонвизина о необходимости законов» Н. А. Антропову¹⁶. С «Рассуждением», несомненно, знаком был и А. А. Бестужев. В известном письме к Николаю I, написанном в Петропавловской крепости, говоря о разгуле казнокрадства и лихоимства в царствование Александра I, Бестужев почти дословно цитирует Фонвизина: «...в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, *кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал*»¹⁷ (ср. в «Рассуждении» Фонвизина: «Головы занимаются одним примышлением средств к обогащению. *Кто может — грабит, кто не может — крадет*»).

Страстный памфлетно-полемиический тон кишиневских заметок Пушкина по русской истории XVIII в. наводит на мысль, что «Рассуждение» Фонвизина не только было ему известно, но и в какой-то мере помогало разоблачить в его глазах «славную память» Екатерины. Слова Пушкина: «...развратная государыня развратила и свое государство»¹⁸ — конкретизируют общие положения Фонвизина об ответственности монарха за пороки своих подданных. И когда Пушкин в первой главе «Евгения Онегина» называл Фонвизина «сатиры смелым властелином» и «другом свободы», он, очевидно, объединял в своем восприятии автора «Недоросля» и автора гневного политического трактата против самодержавного произвола. Пушкинское крылатое слово — «друг свободы» — выражает и декабристское представление о великом русском сатирикe.

Оба списка «Рассуждения» Фонвизина в переработке Н. М. Муравьева изобилуют большим количеством разного рода неточностей, особенно список из архива Вяземского. Ниже печатается сводная редакция обоих списков, в основу которой положен список из бумаг Ф. П. Литке, и параллельно полный текст подлинного «Рассуждения» Д. И. Фонвизина. Курсивом выделены строки и слова, измененные Н. М. Муравьевым; в прямые скобки заключены места, им опущенные; в ломаные скобки — варианты.

ТЕКСТ Д. И. ФОНВИЗИНА:

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. *Просвещенный ясностию сия истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству посколькy смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть несовершенство, и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем: но вообрази его таковым, которого ум и сердце столько были б превосходны, чтоб никогда не удалялся он от общего блага, и чтоб сему правилу подчинил он все свои намерения и деяния, кто может подумать, чтоб сею подчиненностию беспредельная власть его ограничивалась? Нет. Она есть одного свойства со властью существа высшего. Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага; а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечные истины для самого себя непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не престав быть богом, сам преступить не может. Государь, подобие бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем.*

Без сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов, не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет той подпоры, на которой бы их общая сила утвердилась. Все в намерениях полезнейшие установления никакого основания иметь не бу-

ТЕКСТ Н. М. МУРАВЬЕВА:

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, добрые государи чувствуют. *Самодержавный государь сам познать должен, что власть делать зло есть несовершенство, и что он тогда только облачается истинным величием, когда сам у себя оную отъемлет и употребляет все свои намерения и деяния к единому благу отечества. Уподобляясь тем благотворному божеству, неужели он унижает достоинство свое? Бог потому только и совершен, что не может делать ничего, кроме блага, постановив для себя непреложные законы, которых не может преступить, не престав быть богом. Равно и государь не может иначе освятить своего могущества, как признав над собою владычество непреложных законов.*

Без сего не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет подпоры, на которой общая их сила утвердилась. Полезнейшие *постановления* никакого основания иметь не будут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику

дут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику не угодно было в один час уничтожить все то, что *во все* прежние царствования устанавливаемо было. Кто поручится, чтоб сам законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного *есть* закон верховный, *тамо* прочная общая связь и существовать не может; *тамо* есть государство, *но* нет отечества; есть подданные, *но* нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие *бывает* подвигом всякого узаконения; ибо не нрав государя приравнивается к законам, но законы к его нраву. Какая же доверенность, *какое* почтение может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, *то есть*, соображения с общею пользою? Кто может *дела свои* располагать *тамо*, где без всякой справедливой причины завтра вменится в преступление то, что сегодня не запрещается? Тут каждый подвержен *будучи* прихотям и неправосудию сильнейших, не считает себя *в обязательстве* наблюдать того с другими, *чего* другие с ним не наблюдают. Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные, дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуются, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править должныствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу. *Я назвал его недостойным потому, что* название любимца не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, *а принадлежит* обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком развращенном положении зло-

не угодно было в один час уничтожить все то, что *в* прежние царствования установлено было? Кто поручится, чтоб сам законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного — закон верховный, прочная общая связь и существовать не может. *Там* есть государство — нет отечества; есть подданные — нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие *управляет* законодателем, ибо не нрав государя приравнивается к закону, но законы к его праву. Какая доверенность может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства — соображения с общею пользою? Кто может располагать *своими делами там*, где без всякой справедливой причины завтра вменится в преступление то, что сегодня не воспрещается? Тут каждый подвержен прихотям и неправосудию сильнейших *и* не считает себя *обязанным* наблюдать того с другими, *что* другие с ним *не соблюдают*. Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные, дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуются, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править должныствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу — *недостойному, ибо* название любимца никогда не *принадлежит* достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, *а приписывается* только человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком

употребление самовластия восходит до невероятности *и уже престаёт* всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок *и презрителен*. Пороки любимца *не только* входят в обычай, *но бывают* почти единым средством к возвышению. [*Если любимец он пьянство, то сей гнусный порок всех вельмож заражает. Если дух его обят буйством и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно заградить пути к счастью*]. Но если провидение в *лютейшем* своем гневе к *человеческому роду* попускает душою государя овладеть чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвою насильств и игрищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титулами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная власть его над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдный, *ленивец*, тогда нравственная язва становится всеобщю, *все сии пороки разливаются* и заражают двор, город *и наконец* — государство. [*Вся молодость становится надменна и принимает тон буйственного презрения ко всему тому, что должно быть почтенно*.] Все узы благочиния расторгаются; к крайнему соблазну ни век, изнуренный в служении отечества, ни сан, приобретенный истинною службой, не ограждают почтенного человека от нахальства и дерзости едва из ребячьих *и одним случаем поднимаемых негодниц*. Коварство и ухищрение приемлется главным правилом поведения. Никто нейдет стезею себе свой-

развращенном положении злоупотребления самовластия *восходят до невероятности; перестает* всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок, презрителен. Пороки любимца *входят в обычай и становятся* единым почти средством к возвышению. Но если провидение в гневе своем попускает овладеть душою государя чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство было неминуемо жертвою его насильств и игрищем прихотей; если все уродливые движения души влекут его первенствовать *одним* только богатством, титулами и силою вредить; если взор его, осанка, речь *ничего другого не знаменуют*, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная власть его над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению *и бесстыдный сластолюбец*, тогда нравственная язва становится всеобщю, заражает двор, город *и все* государство. Все узы благочиния расторгаются, *и к крайнему соблазну ни век, изнуренный в служении отечеству, ни сан, приобретенный истинною службою, не ограждают почтенного человека от нахальства и дерзости*. Коварство и ухищрение приемлется главным правилом поведения. Никто нейдет стезею себе свойственной. Никто не намерен заслуживать, всякий ищет *выслуживаться*. В сие *благоприятное* недостойным людям время какого воздаяния могут ожидать истинные *мужи*, или паче *остается* ли способ *служить* мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не иска-

ственную. Никто не намерен заслуживать; всякий ищет выслуживать. В сие *благоспешное* недостойным людям время какого воздаяния могут ожидать истинные *заслуги*, или паче есть ли способ *оставаться в службе* мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не *изгажено* *скарденным* прикосновением пристрастного покровительства? *Посвятив жизнь* свою военной службе, *лестно ли дослуживаться до полководства*, когда *вчерашний капрал*, *неизвестно кто и не ведомо за что*, становится *сегодня* полководцем и принимает начальство над заслуженным и *ранами* *покрытым офицером*? *Лестно ль* быть судьей, когда правосудным быть *не позволяется*? Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним *примышлением* средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет; и когда государь без непреложных *государственных* законов зиждет на песке свои здания и, выдавая непрестанно частные уставы, думает истреблять вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откуп, что для *бессовестных* хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет *ему* преступление и во что милостивый указ стать *ему* может. Когда же правосудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины *свое* и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая *развращенным* страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя, пред очами целого света, в *самых* царских чертогах, водружил знамя беззакония и нечестия; [*когда, насыщая бесстыдно свое* *сластолюбие*, *ругается он явно святыми узам* *родства*, *правилами чести*, *долгом человечества и пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирает дерзает?*] Не *вхожу я в подробности* губительного

жестоко *помрачено* единым прикосновением пристрастного покровительства? *Можно ли быть* *воином*, *и* *искать* *начальства*, *когда* *неопытный юноша* становится полководцем — *сказать стыдно за что*, и принимает начальство над испытанным и заслуженным человеком? *Можно ли* быть судьей, когда правосудным быть *запрещается*? Алчное *личное* корыстолюбие довершает общее развращение. Все головы занимаются одним *приисканием* средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет; и когда государь без непреложных законов зиждет на песке свои здания и, выдавая непрестанно частные уставы, думает истребить вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откуп, что для хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет *им* преступление и во что милостивый указ стать *может*. Когда же правосудие претворилось *превратилось* в торжище и можно бояться потерять без вины и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая *развратным* страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя, пред очами целого света, в *виду* царских чертогов водружил знамя беззакония и нечестия? Не *буду входить* в губительное состояние дел, исторгнутых им под особенное *начальство*.

состояния дел, исторгнутых им под особенное его начальство; [но вообще видим, что если, с одной стороны, заразивший его дух любоначалия кружит все головы, то с другой — дух праздности, поселивший в него весь ад скуки и нетерпения, распространяется далеко, и привычка к лености укореняется тем сильнее, что рвение к трудам и службе почти оглашено дурачеством смеха достойным.]

После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не ясно ли видим, что не тот государь самовластнейший, который на недостатке государственных законов чаёт утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое *насквозь* видны действующие им пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство *уничтожено*, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. *Нация* тем не менее страдает, что не сам государь принялся *ее* терзать, а отдал на расхищение извергам себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные *интересы*, раздробленные существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, держащийся цепями. Цепи разрываются, колосс падает и сам собою разрушается. Деспотичество, рождающееся от анархии, весьма редко в *нее* опять не возвращается.

Для отвращения *таковые* гибели государь должен знать во всей точ-

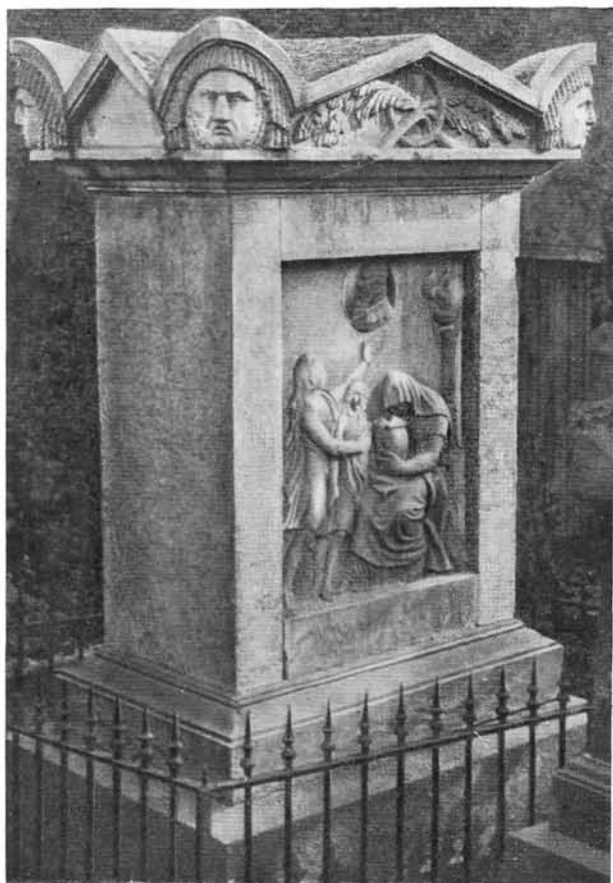
После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не *является* ли, что не тот государь самовластный, который на недостатке государственных законов чаёт утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое видны действующие пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство *унижено*, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. *Народ* тем не менее страдает, что не сам государь принялся *его* терзать, а отдал на расхищение извергам себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные *выгоды*, разделенные существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, держащийся цепями. Цепи разрываются, колосс падает и сам собою разрушается. Деспотизм, рождающийся *обыкновенно* от анархии, весьма редко опять в *оную* не *обращается*.

Для отвращения *тоlikой* гибели государь должен знать во

ности *все права своего величества, дабы, первое, содержать их у своих подданных в почтении, и второе, чтобы самому не преступить пределов, ознаменованных его правам самодержавнейшею всех на свете властью, а именно властью здравого рассудка. До первого достигает государь правотою, до второго — кротостию.*

Правота и кротость суть лучи божественного света, возвецающие людям, что правящая ими власть поставлена от бога и что достойна она благоговейного их повиновения: следственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастью времен попустили, уступая силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои око-

всей точности права свои, дабы не преступить пределов, ознаменованных самодержавнейшею из всех властей на свете — властью здравого рассудка. Он должен во всех поступках руководствоваться правотою и кротостию, убеждающими людей, что правящая ими власть поставлена от бога и достойна благоговейного повиновения. Следственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, а от людей, которым несчастье времен дозволило унижать человеческое достоинство в себе подобных. В таком гибельном положении народ, буде находит средства разорвать свои оковы тем



ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ
М. Н. МУРАВЬЕВА — ОТЦА
ДЕКАБРИСТОВ НИКИТЫ
И АЛЕКСАНДРА МУРАВЬ-
ЕВЫХ, 1807 г.

Фотография 1954 г.
Музей-некрополь (ранее Алек-
сandro-Невская лавра),
Ленинград

ИЗОБРАЖЕНИЯ М. Н. МУРАВЬЕВА, ЕГО ЖЕНЫ И СЫНОВЕЙ — БУДУЩИХ ДЕКАБРИСТОВ НИКИТЫ И АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВЫХ В БАРЕЛЬЕФЕ НАДГРОбНОГО ПАМЯТНИКА М. Н. МУРАВЬЕВА, 1807 г.

Фотография 1954 г.

Музей-некрополь (ранее Александро-Невская лавра), Ленинград



вы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властью она его облакает. Возможно ль же, чтобы нация добровольно постановила сама закон, разрешающий государю делать неправоудие безотчетно? Не стократно ли для нее лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства? [А потому и должен он быть всегда наполнен сею великою истиною, что он установлен для государства и что собствен-

же правом, каким на него наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное: или он теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у него свободы. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как скоро перестают быть наблюдаемы. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете народа, который бы насильно принудил кого-либо стать своим государем; и если оный без государя существовать может, а без него государь не существует, то очевидно, что первобытная власть находится в руках народа и что при установлении государя не о том было дело, чем он народ пожалует, а какою властью народ его облечет. Но <И> возможно ли, чтобы народ постановил сам закон, разрешающий государю делать неправоудие безотчетно? Не стократно ль для него лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства?

ное его благо от счастья его подданных долженствует быть неразлучно.]

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что есть государь?

Душа правимого им общества. Слабая душа, если не умеет управлять прихотливыми стремлениями тела. Несчастно тело, над коим властвует душа безрассудная, которая чувствам, своим истинным министрам, или вовсе вербуется, или ни в чем не доверяет. Положась на них, беспечно принимает он кучу за гору, планету за точку, но буде презирает она их служение, буде возмечтает о себе столько, что захочет сама зажмурясь видеть и, заткнув уши, слышать, какой правильной разрешимости тогда ожидать от нее можно и в какие напасти она сама себя не увлекает!]

Государь, душа политического тела, равной судьбине подвергается. Отверзает ли он слух свой на всякое внушение, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает: но если он сам и не признает верховной ее власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; тотчас поселяется к нему ненависть; скоро сам он начинает бояться тех, которые его боятся, словом: вся власть его становится незаконная; ибо не может быть законна власть, которая ставит себя выше всех законов естественного правосудия.

[Просвещенный ум в государе представляет ему сие заключение, без сомнения, во всей ясности, но просвещенный государь есть тем не больше человек. Он как человек рождается, как человек умирает и в течение своей жизни как человек погрешает, а потому и должно рассмотреть, какое есть свойство человеческого просвещения. Между первобытным его состоянием в естественной его дикости и между истинного просвещения состояние толь велико, как от неизме-

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что есть государь?

Душа политического тела. Отверзает ли он слух свой всякому внушению, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает. Но если он сам не признает верховной власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; поселится к нему ненависть; скоро сам начнет бояться тех людей, кои его ненавидят, и ненавидеть тех, которых боится. Власть его становится властью незаконною.

римой пропасти до верху горы высочайшей. Для восхождения на гору потребно человеку пространство целой жизни, но, взойшед на нее, если позволит он себе шагнуть чрез черту, разделяющую гору от пропасти, уже ничто не останавливает его падения, он погружается опять в первобытное свое невежество. На самом пороге сего страшныя пропасти стоит просвещенный государь. Стражи, не допускающие его падения, суть правда и кротость. В тот час, как он из рук их себя исторгает, погибель его совершается, меркнет свет душевных очей его, и, летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: «всё мое, я всё, всё ничто».]

Державшийся правоты и кротости просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем величестве; ибо свойство правоты таково, что самое ее никакие предубеждения, ни дружба, ни склонности, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий — все на одной чреде стоят; [добрый государь добр для всех, и все уважения его относятся не к частным выгодам, но к общей пользе. Сострадание производится в душе его не жалобным лицом обманывающего его корыстолюбца, но истинною бедностию несчастных, которых он не видит и которых жалобы часто к нему не допускаются.] При всякой милости, оказуемой вельможе, должен он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна заслуга государству, что не повинно оно платит за угождения его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем и форме. Он должен знать, что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что, следовательно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдать-

Просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем величии, ибо свойство правоты таково, что ее никакие предубеждения, ни склонности, ни дружба, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий — все на одной чреде пред ним. При всякой милости вельможе он обязан иметь весь народ свой перед глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна только заслуга государству, что не повинно оно платить за угождение его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем. Он должен знать, что народ, жертвуя частию своей вольности естественной, вручал свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому ввергает дела правления и что, следовательно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдаться тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем долг свой перед ним исполняет. Нет! невинность его есть платеж, коим он сам себе должен, но государству все еще должным остается. Он повинен ему отвечать не только за

ся тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем *весь долг свой* пред ним исполняет. Нет, невинность его есть платеж *долгу*, коим он сам себе должен: но государству все еще должником остается. Он повинен отвечать ему не только за *дурно*, которое сделал, но и за добро, которого не сделал. Всякое *попущение* — его вина; всякая жестокость — его вина; ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям [и что, с другой стороны, *настрожайшее правосудие над слабостями людскими есть наивеличайшая человечеству обида*. К несчастию подданных, приходит иногда на государя такая полоса, что он ни о чем больше не думает, как о том, что он государь; иногда ни о чем больше, как о том, что он человек. В первом случае обыкновенно походит он в делах своих на худого человека, во втором бывает неминуемо худым государем. Чтобы избегнуть сих обеих крайностей, государь ни на один миг не должен забывать ни того, что он человек, ни того, что он государь. Тогда бывает он достоин имени премудрого. Тогда во всех своих деяниях вмещает суд и милость. Ничто за черту свою не преступает. Кто поведением своим возмущает общую безопасность, предается всей строгости законов. Кто поведением своим бесчестит самого себя, наказывается его презрением. Кто не рачит о должности, теряет свое место. Словом, государь, правоту наблюдающий, исправляет всечасно пороки, являя им грозное чело, и утверждает добродетель, призывая ее к почестям.

Правота делает государя почтенным; но кротость, сия человечеству любезная добродетель, делает его любимым. Она напоминает ему непрестанно, что он человек и правит людьми. Она не допускает поселиться в его голову несчастной и нелепой мысли, будто бог создал миллионы людей для ста человек. Между кротким и горделивым государем та ощутительная разница, что один заставляет себя внутренне обожать, а другой — наружно боготворить; но кто принуждает себя боготворить, тот

зло, которое сделал, но и за добро, которого не сделал; всякое *упущение* — его вина; всякая жестокость — его вина; ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям.

внутри души своей видно чувствует, что он человек. Напротив того, кроткий государь не возвышается никогда унижением человечества. Сердце его чисто, душа права, ум ясен. Все сии совершенства представляют ему живо все его должности. Они твердят ему всечасно, что государь есть первый слугитель государства; что преимущества его распространены нацию только для того, чтоб он в состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой; что силою публичной власти, ему вверенной, может он жаловать почести и преимущества частным людям, но что самое нацию ничем пожаловать не может, ибо она дала ему все то, что он сам имеет; что для его же собственного блага должен он уклоняться от власти делать зло и что, следственно, желать деспотичества есть не что иное, как желать найти себя в состоянии пользоваться сею пагубною властью. Невозможность делать зло может ли быть досадна государю? А если может, так разве для того, что дурному человеку всегда досадно не смочь делать дурно.]

Право деспота есть право сильного: но и разбойник то же право себе присвоит. И кто не видит, что изречение *право сильного* выдуманно в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе не встречаются. Сила принуждает, а право обязывает. Какое же то право, которому повинуются не по должности, а по нужде и которое в тот момент у силы исчезает, когда большая сила сгоняет ее с места? [Войдем еще подробнее в существо сего мнимого права]. Потому, что я не в силах [кому-нибудь] сопротивляться, следует ли из того, чтоб я морально обязан был признавать его волю правилом моего поведения? [Истинное право есть то, которое за благо признано рассудком и которое, следственно, производит некое внутреннее чувство, обязывающее нас повиноваться добровольно. В противном случае повиновение не будет уже обязательством, а принуждением.] Где же нет обязательства, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа

Право деспота есть право сильного, и кто не видит, что изречение «право сильного» выдуманно в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе не встречаются. Сила принуждает, а право обязует. Какое же право, которое в то мгновение у силы исчезает, когда большая сила сгоняет ее с места? Потому, что я не в силах сопротивляться, следует ли из того, чтобы я нравственно был обязан признавать угнетающую меня волю правилом моего поведения?

Где нет обязанности, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа всемогущего не

всемогущего не имеет ни малейшего права на наше повиновение. Вообразим себе существо всемогущее, которое не только ко всему принудить, но и вовсе истребить нас может, [*которое захотело бы сделать нас несчастными или, по крайней мере, не захотело бы никак пеших о нашем благе, когда*] чувствовали ли бы мы в душе обязанность повиноваться сей вышней воле, [*клоняющейся к нашему бедствию или нас пренебрегающей?*] Мы уступили бы по нужде ее всемогуществу, и между богом и нами было бы не что иное, как одно физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого. Рассудок, признавая благим употребление его всемогущества, советуем нам *соображаться с его волею и влечет сердца и души ему повиноваться*. Существо всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? И такое гнусное повиновение прилично ли существу рассудком одаренному? Нет, оно не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе *действования*. Праву *потребны* достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железа, топоры. [*Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее.*] Тиранин, где бы он ни был, есть тиранин, [и право народа *спасать свое бытие пребывает* вечно и везде непоколебимо.

Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находятся в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот *прямая политическая воля* нации. Тогда всякий волен будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать делать того, чего хотеть не должно; а дабы нация имела сию волю, надлежит правлению быть так устроено, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть игрой

имеет ни малейшего права на наше повиновение. Вообразим себе *какое-нибудь нам враждебное* существо всемогущим, которое нас не только ко всему принудить, но и вовсе истребить может, чувствовали бы мы в душе своей обязанность повиноваться сей вышней воле?

Мы уступили б по нужде и между таким *таковым* богом и нами было бы не что иное, как физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого. Рассудок *наш признает* *признав* благим употребление его всемогущества и мы с радостью ему *покоряемся* *с радостью ему покоряется*. Существо всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? Такое гнусное повиновение прилично ли существу рассудком одаренному? Нет, оно недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе *действия*. Праву *нужны* достоинства, дарования, добродетели... Силе надобны *нужны* тюрьмы, железа, топоры... Тиранин *везде* тиранин, *под каким бы названием он ни скрывался*.

насилъств и прихотей; чтоб по одному произволу власти никто из последней степени не мог быть взброшен на первую, ни с первой свергнут на последнюю; чтоб в лишении имения, чести и жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следовательно, всякий беспрепятственно пользоваться мог своим имением и преимуществами своего состояния.

Когда же свободный человек есть тот, который не зависит ни от чьей прихоти, напротив же того, раб деспота тот, который ни собою, ни своим имением располагать не может и который на все то, чем владеет, не имеет другого права, кроме высочайшей милости и благоволения, — то по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом собственности. Оно есть не что иное, как право пользоваться; но без вольности пользоваться, что оно значит? Равно и вольность сия не может существовать без права, ибо тогда не имела бы она никакой цели; а потому и очевидно, что нельзя никак нарушать вольности, не разрушая права собственности, и нельзя никак разрушать права собственности, не нарушая вольности.]

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательств, найдем необходимо два главнейших пункта, а именно [те, о коих теперь рассуждаемо было]: *вольность* и *собственность*. Оба сии преимущества, [равно как] и форма, каковою публичной власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и моральным свойством нации. Священные законы, определяющие сие устройство, разумею мы под именем *фундаментальных*. [Ясность их должна быть такова, чтоб ни малейшего недоразумения никогда не повстречалось, чтоб из них монарх и подданный равномерно знали свои должности и права.] От сих точно законов зависит общая [их] безопасность, следовательно они и должны быть *непременными*.

Теперь представим себе государство, объемлющее пространство, ка-

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательства, найдем необходимо два главнейшие условия, а именно: *свободу* и *собственность*. Оба сии преимущества и форма, каковою общественной власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и нравственных свойств народа. Священные законы, определяющие сие устройство, разумею мы под именем *основных законов*. От них зависит общая безопасность, следовательно они и должны быть *непременными*.

Теперь сравним с сказанным
 <Помня все выше сказанное, обратим

кового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и *какового по мере его обширности* нет в свете малолюднее; государство, раздробленное с *лишком на тридцать* больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде, в другом большею частию по прихоти; государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное, [*и которого положение таково, что потеряннем одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться*]; государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край *конечного разрушения* и гибели; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буйн, охраняющих безопасность царских особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем различается; государство, движимое *вседневными* и часто друг другу противоречущими указами, [*но не имеющее никакого твердого законоположения*]; государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцем и судьей над человеком другого состояния, где каждый, [*следственно*], может быть завсегда или тиран или жертва; государство, в котором почтеннейшее из *всех состояний*, *долженствующее оборонять отечество* купно с государем и корпусом своим представляющую, руководствуемое одною честью, *д в о р я н с т в о* уже именем только существует и продается *всякому подлецу, ограбившему отечество*; [где знатность, *сия единственная цель благородных души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавором, поглотившим всю пищу истинного любочестия*]; государство не

взоры наши на государство, объемлющее состояние государства, объемлющего пространство, *какового ни одно не объемлет на всем известном земном шаре и которого по содержанию* нет в свете малолюднее; государства, раздробленного *государство, раздробленное* на *пятьдесят с лишком* *больших* областей и состоящего *состоящее*, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут большею частию люди по нужде, в другом большею частию по прихоти; государства *государство*, воинством своим страшного *страшное*, силою и славою своею *обращающего* *обращающее* на себя внимание целого мира и которое *бродяга* никем не *наученный* *ненаученный* мог привести в несколько часов на край гибели; государства, дающего *государство, дающее* чужим землям царей и которого *коего* собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буйн *от долготерпения вооруженных мучеников*, охраняющих безопасность царской особы; государства *государство*, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких *должных* преимуществ и одно от другого пустым только именем *отличается*; государства *государство*, движимого *движимое* *ежедневными*, *весьма* часто друг другу противоречащими *противными* указами; государства *государство*, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцем и судьей над человеком другого состояния, где каждый может быть завсегда или тиран или жертва; государства *государство*, где *дворянское звание, одним именем существующее, продается каждому грабителю*; государства не деспотического *государство не деспотическое*, ибо народ никогда не отдавал себя государю в самовластное управ-

деспотическое: ибо *нация* никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление и всегда имела *трибуналы* гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое, ибо нет в нем *фундаментальных* законов; не аристократия, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства.

[*Просвещенный и добродетельный монарх, застав свою империю и свои собственные права в такой несообразности и неустройстве, начинает великое свое служение немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных. В сем главном деле не должен он из глаз выпускать двух уважений: первое, что государство его требует немедленного врачевания от всех зол, приключаемых ему злоупотреблением самовластия; второе, что государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как если вдруг и не приуготовя нацию, дать ей преимущества, коими наслаждаются благоустроенные европейские народы. При таком соображении, каковы могут быть первые фундаментальные законы, прилагается при сем особенное начертание**].

В заключение надлежит признать ту истину, что главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением. На сие никакие именные законы не годятся. Узаконение быть добрыми не подходит ни под какую главу Устава о благочинии. Тщетно было бы вырезать его на досках и ставить на столы в управах; буде не врезано оно в сердца, то все управы будут плохо управляться. Чтoб устроить нравы, нет нужды ни в каких пышных и торжест-

ление и всегда имел *судилища* гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархического *〈не монархическое〉*, ибо нет в нем *основных* законов; не аристократического *〈не аристократическое〉*, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина *〈машина〉*, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит *〈несет〉* безгласно бремя жестокого рабства.

* Сего начертания не допустила Панина сочинить скоропостижная ему кончина. — Приписка на полях рукою П. И. Панина.

венных обрядах. Свойство истинного величества есть то, чтобы наивеличайшие дела делать наипростейшим образом. Здравый рассудок и опыты всех веков показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина, куда повернуть людей: к добродетели или к пороку. Все на него смотрят, и сияние, окружающее государя, освещает его с головы до ног всему народу. Ни малейшие его движения ни от кого не скрываются, и таково есть счастливое или несчастное царское состояние, что он ни добродетелей, ни пороков своих утаить не может. Он судит народ, а народ судит его правосудие. Если же надеется он на развращение своей нации столько, что думает обмануть ее ложною добродетелью, сам сильно обманывается. Чтоб казаться добрым государем, необходимо надобно быть таким; ибо как люди порочны ни были б, но умы их никогда столько не испорчены, сколько их сердца, и мы видим, что те самые, кои меньше всего привязаны к добродетели, бывают часто величайшие знатоки в добродетелях. Быть узнану есть необходимая судьбина государей, и достойный государь ее не устрашается. Первое его титуло есть титуло честного человека, а быть узнану есть наказание лицемера и истинная награда честного человека. Он, став узнан своею нациею, становится тотчас образцом ее. Почтение его к заслугам и летам бывает наистрожайшим запрещением всякой дерзости и нахальству. Государь, добрый муж, добрый отец, добрый хозяин, не говоря ни слова, устроит во всех домах внутреннее спокойство, возбуждает чадолюбие и самодержавнейшим образом запрещает каждому выходить из своего состояния. Кто не любит в государе мудрого человека? а любимый государь чего из подданных сделать не может? Оставляя все тонкие разборки прав политических, спросим себя чистосердечно: кто есть самодержавнейший из всех на свете государей? Душа и сердце возопиют единогласно: тот, кто более любим.]

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 11—12.
- ² П у ш к и н. Тень Фонвизина (т. I, стр. 156); письмо к П. А. Вяземскому от первой половины ноября 1824 г. (т. XIII, стр. 121).
- ³ Н е ч к и н а. Грибоедов, стр. 430.
- ⁴ «Русская старина», 1884, № 4, стр. 60—63.
- ⁵ П. А. В я з е м с к и й. Фон-Визин. — Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1880, стр. 185. См. также запись Вяземского в «Старой записной книжке» — т. IX. СПб., 1884, стр. 37.
- ⁶ ЦГИА, ф. № 48, ед. хр. 265, ч. I, лл. 9—11.
- ⁷ Там же, л. 14.
- ⁸ Там же, ф. № 728, оп. 1, ед. хр. 565.
- ⁹ Д. И. Ф о н в и з и н. Избранные сочинения и письма. Подготовка текста и комментарии Л. Б. Светлова. Гослитиздат, 1947; Русская проза XVIII века, т. I. Гослитиздат, 1951; Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века, т. II. Госполитиздат, 1952.
- ¹⁰ Е. С. Ш у м и г о р с к и й. Император Павел I. СПб., 1907, прилож., стр. 2.
- ¹¹ «Общественные движения», стр. 10.
- ¹² «Русская старина», 1884, № 4, стр. 62.
- ¹³ ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 1108, лл. 62—75. — Некоторые из переписанных в записной книжке материалов датированы 1823, 1825 и 1826 гг., что указывает на время, когда она заполнялась. Несомненно, что текст «О необходимости законов» был внесен в записную книжку до восстания 14 декабря 1825 г. (Там же хранится и список подлинного «Рассуждения» Д. И. Фонвизина, полученный Вяземским от его племянников).
- ¹⁴ Находятся у Н. Ф. Литке (Ленинград). В том же архиве Ф. П. Литке сохранилась записка «Нечто о возмущении Семеновского полка». См. далее, стр. 363—364.
- ¹⁵ ЦГИА, ф. № 48, д. 363, лл. 1—2.
- ¹⁶ «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 179.
- ¹⁷ Д о в н я р - З а п о л ь с к и й. Мемуары, стр. 132—133.
- ¹⁸ П у ш к и н. «Замечания по русской истории XVIII века» — т. XI, стр. 16.